

## ГЛАВНАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ ПОЭТА.

/ о книге Григория Марка "Среди вещей и голосов"/

Что сразу же бросается в глаза читающему? Прежде всего: откровенная нерасхожесть сказанного. Нет ничего вольно или невольно заимствованного, более того: ничего прямо услышанного или увиденного, но есть тончайшее единство слов, рвущихся к полноте невыразимого, то есть как это ни парадоксально к тишине, недоговоренности, беззвучию, словно каждое из этих слов ис пугано приоткрывающейся перед глазами автора глубокой тьмой или слишком ярким светом. И свет, и тьма диктуют не только темы, они диктуют интонацию, внутреннюю музыку произносимого. Большинство стихотворений этой книги напоминает запись под диктовку собственного двойника, ощупью бредущего в нескольких пространствах сразу. Если в пути настигает ночь, зажигается фонарь сновидений, причудливо меняющий любую действительность:

И каждою ночью слепым водолазом,  
Сквозь волны кесонной болезни спускаясь  
В скафандре коры полуширий мой разум  
Теряет сознание и, отделяясь  
От плоти, становится губкой, сновидцем,  
Вбирает в себя всю размытую память  
О жизнях моих предыдущих, струится  
Кипящую кровью и бьётся толчками

## Под мягким скафандром коры пооушарий...

Труднее всего однозначно ответить на вопрос: в чем, собственно, красота поэзии? То, что в ней присутствуют все три традиционных "красоты" музыкальная, живописная и пластическая очевидно, но очевидно и то, что ни одна из них не идёт ни в какое сравнение с тем, что действительно делает поэзию поэзией и подтверждает её непосредственную близость явлениям божественного порядка. Я говорю о слове основном предмете и орудии поэтического искусства. Слово однозначно выводит поэзию к самой сокровенной из всех возможных тем теме писшущего. Поэту некуда спрятаться: слово прозрачно, как стекло, и опасно, как все природные стихии разом. У поэта изначально отнято право выбора. Вопроса "быть" или не "быть" для него просто не существует. Писать значит "быть", сбываться в своей корневой, скрытой от всех сути. В мире стихотворения, как и в мире сновидения, нет и не может быть ничего случайного. Артистическая искренность стиха есть высочайшая форма человеческой искренности вообще и чудо душевной доверительности.

Ранимый.

Удара держать не умеешь,

Ранимый.

Похоже,

Язык у тебя

От молчанья распух.

Чужими,

Ты видишь себя

Лиши глазами

Чужими.

Но Боже

Как хочется всё же

Сказать что то

Вслух...

Когда совсем молодая Цветаева произнесла: "Я обращаюсь с требованием веры и просьбой о любви", она высказало только общее, старое, как мир, желание всякого поэта, выходящего на суд толпы: поверьте тому, что я это знаю. Я это вижу. Не сомневайтесь в моей правоте. Самое банальное возражение толпы звучит так: сколько людей, столько и мнений." Да, но тогда поверьте хотя бы тому, что поэт знает больше и видит отчётилней. Догадывались ли вы, прожившие те же самые шестидесятые и семидесятые русские годы, как это выглядело:

Жили в сумерках вечных,

Почти что вслепую, наощупь.

Натыкались руками

На твердые, острые вещи.

Днём, когда очертанья

Вещей проступали чуть резче,

Из домов выходили

На поиски пищи. А ночью

Собирались все вместе

Часами на кухне убогой,

Взявшись за руки, пели  
Во тьму, исступленно и строго:  
"Снизойди на нас светом..."  
Приди, освети нам дорогу..."  
И казалось, что тьма  
Расступалась над ними немного...

Даже если ваша память располагает гораздо большим числом подробностей и фактов, относимых к шестидесятым семидесятым, она бессильна там, где сильна поэзия а именно воспроизведением не факта, не подробности, не вещи, но образа того, другого и третьего. Процесс рождения образа из житейских подробностей, бывших на слуху и на виду у многих, и есть живое энергичное божественное дело поэзии.

Когда, например, блуждая по холодным коридорам жизни, поэт вдруг оказывается перед потаённой лестницей, ведущей на самое дно памяти, лестница меняет свой наклон, крутизна её больно метит его позвоночник каждой своей ступенью и, в конце концов, выносит в ту реку, где вода смешана со слезами. Вкус этих слёз есть вкус собственного детства.

Ничего не забыв, сам себя пережив,  
в Петербург я вернусь. Совершенно седой,  
загорелый, похожий на свой негатив.  
Полукружье моста глубоко под водой  
изогнётся, двойную дугу очертив,

словно лялька для тени бездомной моей...

И я снова внутри... Отраженья со дна  
поднимаются вверх... Я пролог до костей...  
Белой ночью плывёт по зелёным волнам  
пароходик, обвешанный визгом детей.

Упłyвают дворцы сквозь слоистую муть...  
Лишь Исакия купол блестит вдалеке,  
как облитая золотом женская грудь  
с почерневшим крестом на разбухшем соске...

И плывут отраженья в последний свой путь...

Вереницей светящихся каменных плит  
в ночь еврейское кладбище тихо плывёт...  
Там в земле заболоченной мама лежит.  
Упывает под арку моста пароход,  
и, склонившись за борт, кто то плачет навзрыд.

Это я, превратившийся в свой негатив,  
на экскурсию с классом полжизни назад,  
сам себя пережив, упываю в залив...  
И на дно опускается мой Ленинград.

Повторим: поэтический мир сродни миру сновиденному. В нём возможны любые превращения, поэтому нет ничего странного, когда старый седой человек буквально превращается в ребёнка самим процессом стиха, так, что, кажется, в нём меняется всё вплоть до состава крови. Свободная от вольных и невольных заимствований поэзия Григория Марка традиционна в том смысле, в котором традиционна всякая крупная поэзия. Она традиционна своей неповторимостью, неожиданностью голоса, темы, образа, и главное умением пристально всматриваться в жизнь и ещё пристальнее в смерть, не отводя глаз, не склонившись в сторону. На языке аскетической традиции это умение называется "памятью смертной" и означает, что человек догадывается о том, что в момент его физического конца не происходит завершения личностного существования, и "тайна сия велика есть." Григорий Марк пишет уход души из мира.

Стволы в тумане. Кладбище чудес.

Одни стволы. Без листьев, без ветвей.

Как волосы на коже крупным планом.

Фигурка щуплая в щетине из лучей

бредёт наощупь сквозь огромный лес,

позвякивая мелочью в карманах.

Для поэтики его характерно острое сочетание буквальности произносимого и одновременно недоговоренности, он балансирует на стыке робости и мужества, то вытягивая собеседника на горнюю высоту, где простому человеку больно дышать, то погружая его во тьму предположений и догадок. При этом художественная интуиция его безупречна, как бывает безупречен музыкальный слух.

Возвращаются смыслы утраченных слов:  
покаяние, грех... И всё меньше предметов.  
В двуедином пространстве из снов и стихов  
их объём заполняется солнечным светом.

Перетянутый плёнкою ветра, горит  
голубого пространства обломок громоздкий.  
Очертанья вещей исчезают внутри,  
затерявшись в дороге от глаза до мозга.

Невозможность прямой "морали" или "прямого смысла" приводит к тому, что "я" Григория Марка осуществляется в некой лирической "косвенности" с мастерским использованием мощной клавиатуры упоминаний. Каждой клеткой души он чувствует существование Бога, но говорить об этом предпочитает с величайшей осторожностью, усмиряя в себе всякое подобие экстаза.

Спустим весь Третий Рим  
С молотка понемногу  
И надвинется хаос,  
И в нас прорастёт.  
За последний предел  
Сумма зла перейдёт,  
И все вещи вернутся  
К хозяину Богу.

Но при кажущейся лирической субъективности книга "Среди вещей и голосов" постоян но предлагает читателю что то вроде "информационных сводок" с полей самых разных действий, опираясь на которые нетрудно понять, как именно строится бесчисленная в своих проявлениях жизнь. Она, эта жизнь, растянута перед глазами автора, и часто растянута безжалостно. Она загромождена мучительными для зрения и слуха предметами, лицами и обстоятельствами. Сомневаться в её исконной драматичности так же нелепо, как сомневаться в неумолимости самого времени.

Отверстие круглого рта,  
Лиловой мембранны мерцанье.  
Под нею помады черта  
Неряшливый знак вычитанья.

В напудренных складках висят  
Исчадия глаз подведённых.  
Как страшно раскрашен фасад  
Бессмертной души,заключенной

В обтянутый кожей сосуд...

"Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотою явлений, полнотою бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни", писал Мандельштам. В действительности Григория Марка "Жизнь языка" осуществляется как

предельно интенсивный смысловой процесс.

В Глаголандии поют колокола.  
Блики плещутся в морщинистом канале,  
Куполята, словно дети, к куполам  
Золотистыми затылками прижались.

Разгораются в соборе языка  
Образа Святой Грамматики и свечи.  
Как бельишко на верёвке, облака  
Просыхают после стирки каждый вечер.

На базаре у собора тиши да гладь.  
За прилавками силлабы монотонно  
Предлагают по дешёвке благодать,  
Разливают аллилуйю по бидонам.

Над каналами поют колокола,  
В небо тянутся молитвою весёлой,  
В Глаголандии никто не держит зла,  
Его негде там держать среди глаголов.

Сознание его, как губка, вбирает в себя всё то, чем питается  
сегодняшний русский язык, свободно омывается его наземными и подземными водами. В  
итоге рождается замысловая игра со звуком и смыслом, которую из за присут-

ствия в ней элемента опасности я бы уподобила ставленной "игре с огнём" "горелкам", по традиции предполагающим прыжки через костёр. Языковое "раскапывание" уводит человека в глубокую тьму корнесловия, и там, во тьме, происходит рождение слова, подобное рождению нового живого существа чистого, тонкокожего, горячего.

Я убеждена, что всякий, вчитавшийся в поэзию Григория Марка, оказывается чем то сродни "подвешенному за ребро", так как факт того, что в этой книге слишком много боли не вызывает сомнений. Ведь "вчитаться" тянет за собой "приобщиться", "пережить", то есть наступает отдача самого высокого рода. Однако, если верить Мандельштаму, сказавшему, что "способность удивляться главная добродетель поэта", то нельзя не признать, что главная добродетель читателя это способность удивляться удивлению поэта. В двойном удивлении и кроется какая то особая человеческая жизнеспособность, инстинкт духовного обновления и выживания. Григорий Марк удивляет вас всем на свете: страхом, цирковой праздничностью, плутовской гримасой, философским смирением, просветлённой благодарностью, умом, нежностью... Но ведь в том, наверное, и состоит логика искусства, этого огромного "царства неожиданностей".